



Евгений Соловьев
**Осип Сенковский. Его жизнь и литературная
деятельность в связи с историей
современной ему журналистики**
Серия «Жизнь замечательных людей»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175422

Аннотация

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Содержание

ГЛАВА I. (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)	4
ГЛАВА II	14
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Е. А. Соловьев Осип Сенковский. Его жизнь и литературная деятельность в связи с историей современной ему журналистики

*Биографический очерк Е. А. Соловьева.
С портретом Сенковского, гравированным в Лейпциге
Геданом.*

ГЛАВА I. (ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

Характеристика русской журналистики вообще. – Журналистика двадцатых и тридцатых годов. – Н.А. Полевой и “Московский телеграф”. – Надеждин. – “Телескоп”. – “Система” эпохи Николая I. – Судьба интеллигентной мысли. – Цензурные строгости. – Запрещение “Телескопа”. – Письмо Чаадаева. – Булгарин

Журналистика, хоть сколько-то напоминающая современную нам, выступила на сцену еще при жизни императора Александра I, в двадцатых годах нашего столетия. Русская мысль того времени склонялась к оптимизму, к жизнерадостному настроению и полному примирению с окружающим. Литература с замечательным талантом проводила эту точку зрения на жизнь, во имя которой работал и Пушкин. Самое недовольство бытием принимало форму не лермонтовских проклятий, не “романтических” взрывов негодования, а грустной элегии, поэтической меланхолии, которая служила очень милым и красивым дополнением к господствовавшему эпикуреизму. То бурный и вакхический, как в стихотворениях Языкова, то тихий и наивный, как у Жуковского, то с философским колоритом, с признанием первенствующей роли за эстетическими наслаждениями, как у Пушкина, – этот эпикуреизм, принимая различные формы, оставался верен самому себе, заставлял искать примирения с жизнью, и действительно все деятели двадцатых годов в конце концов нашли его: Жуковский – в религии и русофильстве, Пушкин – в творчестве, Языков – в покаянии и смирении личном, в гордости своей родиной. Конечно, это не единственное настроение двадцатых годов, но настроение господствующее, завещанное первой половиной александровской эпохи, когда так легко верили и так весело, шутливо жили. Сами литературные нравы того времени так резко отличались от наших, что нужно особенное усилие, чтобы составить о нем хотя бы приблизительное понятие. уж ни в коем случае литература не была потребностью, и тем более необходимой потребностью, как в настоящее время. Большинство публики смотрело на нее как на роскошь, сами писатели даже и не мечтали ставить перед ней какие-нибудь практические цели. Поэты творили прежде всего для самих себя и охотно признавались, что искание славы, то есть влияния на современников, есть слабость человеческая, достойная порицания. Так думали и Пушкин, и Жуковский, так думали и те, кто группировался возле них, и во всяком случае литература и жизнь ничего общего между собою не имели: если последняя была пустыней, то первая – ничем иным, как миражем среди этой самой пустыни. Знаменитая формула “искусство для искусства” не могла даже встретить какого-нибудь возражения, она была одной из аксиом, одной из заповедей, написанных на скрижалях творчества. Возьмите наших писателей, олимпийцев того времени, возьмите прежде всего Пушкина и его учеников. Для чего писали они? На этот вопрос с их стороны нет ответа,

и во всяком случае Пушкин с презрением оттолкнул бы его от себя. Писать *для чего-нибудь* можно разве канцелярскую бумагу или какой-нибудь проект ассенизации; можно писать *потому*, что есть потребность творчества, потребность настойчивая и деспотическая, такая же, как потребность есть, пить, спать, без удовлетворения которой нет полноты жизни и удовольствия; можно писать лишь по призыву внутреннего чувства, чтобы воплотить тревожные образы, дать выход и простор накопившемуся в душе. Писатель – это жрец, стоящий перед неведомым богом искусства, но никак не перед толпой современников.

Само собою разумеется, что подобное настроение было очень далеко от мысли взваливать на литературу какие бы то ни было общественные задачи и ставить перед ней какие бы то ни было практические цели. Литература служила обществу, гуманизировала его, воспитывала его мысль и чувство – это несомненно; но все это делалось помимо самих писателей, лучшие из которых держались на литературу своей собственной точки зрения, решительно ничего не имея против того, чтобы художественные образы воздвигались, говоря метафорически, на болоте общественной жизни, чтобы чудные создания искусства точно камни драгоценные с неба падали в обстановку, столь далекую от их блеска и красоты. Литература просто-напросто была аристократической. Ценителями и судьями был строго ограниченный кружок писателей-олимпийцев, мнение массы игнорировалось столько же, сколько и ее стремления и цели ее бытия. В своей творческой деятельности поэт искал прежде всего наслаждения, смело и свободно отдавался он порыву вдохновения, не тревожа себя мыслями о земных задачах и противоречиях. Он был художником в лучшем, но вместе с тем и самым узким смысле этого слова.

Он искал наслаждения в творчестве, и забота о “мелкой” жизненной правде не всегда тревожила его душу.

Трудно сказать, в какой глухой переулочек завело бы подобное направление, однако на сцену выступила журналистика.

Нельзя отрицать, что журналистике вообще в деле сближения литературы и жизни пришлось сыграть выдающуюся, хотя и не исключительную роль. Кому же, как не журналистике, Россия обязана тем, что в ней в настоящее время обретается такая масса читателей? Это одно чего-нибудь да стоит, и с нашей точки зрения стоит очень многого. Без этой массы народа, способной интересоваться написанным и понимать его, литература никогда бы не могла сделаться общественной силой, она все еще уподоблялась бы прекрасной картинной галерее, вход в которую доступен очень немногим. Масса читателей нужна, необходима даже, чтобы вывести литературу из очарованного круга чисто эстетических задач и идеалов и превратить писателя в общественного деятеля. Конечно, мадонна Рафаэля сама по себе ровно ничего не выиграет и ровно ничего не потеряет, будут ли на нее смотреть пять или пять тысяч человек: в том и другом случае она одинаково остается дивным созданием искусства, великим памятником того, до какой высоты может подняться дух человеческий; но влияние художественного творчества на жизнь складывается не из одного элемента, то есть достоинства самого произведения, а из двух: достоинства – это во-первых, общедоступности – во-вторых. Во имя этой общедоступности, во имя распространения и популяризации и работала всегда русская журналистика; и работала, надо отдать ей полную справедливость, и энергично, и, в сущности, умело.

Двумя путями создавала она массу читателей: с одной стороны, предоставляя интересное, разнообразное и доступное чтение, с другой, – популяризируя знания, воспитывая людей и подводя их понемногу к тем высотам, до которых добрались художественная литература и наука. Оттого-то журналы и играли всегда такую выдающуюся роль у нас в России, оттого-то и возможно утверждать: “В истории нашего умственного развития журналистика является как бы центральной осью”. Журналистика, повторяем, это постоянный посредник между художественной литературой и наукой – и массой публики.

Ведь то же самое, что мы говорили об аристократизме художественной литературы, вполне применимо и к науке, применимо даже теперь, не говоря уже о том, что было 50 лет тому назад. Еще в сороковых годах Белинский писал: «Наука у нас – слишком слабое и нежное растение, которому некогда было даже пустить корней, не только развернуться пышным и благоуханным цветом. Это, впрочем, не значит, чтобы у нас не было науки; это значит только, что наука на Руси до сих пор еще что-то вроде элевсинских таинств, – исключительное достояние небольшого избранного класса людей, а не целого общества, как в Западной Европе. Многие еще из посвящающих себя исключительно науке у нас учатся не для знания, а для аттестатов, открывающих путь к разным преимуществам по службе. Заседания ученых обществ в глазах нашей публики – нечто такое, на что должно смотреть с приличною важностью, не зевая. Сам Араго не привлек бы своими статьями и отчетами разнообразной и полной просвещенного интереса толпы». Если это справедливо для сороковых годов, то что же сказать о двадцатых и тридцатых? То только, что наука была для массы совершенно посторонним предметом.

Очевидно, что журналистика, приняв на себя отчасти в силу необходимости, отчасти по доброму желанию своих руководителей роль посредника между массой, с одной стороны, и художественной литературой и наукой, с другой, должна была выбрать энциклопедическое направление и развить по возможности отдел литературной критики. Та и другая особенности сразу бросаются в глаза, не только если вы возьмете на себя труд перелистать старые журналы двадцатых, тридцатых и сороковых годов, но и журналы настоящего времени. Статьи по естествознанию, статьи по истории, языкознанию, биологии, социологии, психологии чередуются с романами и повестями. *Utile cum dulci*¹ – таков девиз, провозглашенный еще «Московским телеграфом» Полевого, «Библиотекой для чтения» Сенковского, «Отечественными записками» и так далее. Рядом со всем этим – литературная критика, и притом на самом почетном месте. Роль и значение этой критики нашли себе прекрасную оценку в статьях Белинского. Вот что, между прочим, говорит он: «У нас общественная жизнь преимущественно выражается в литературе; поэтому нет ничего мудреного, если все наши журналы по преимуществу журналы литературные, наполняемые или произведениями литературы, или толками о литературе». И дальше: «Без литературного мнения, сколько-нибудь оригинального и самобытного, высказываемого с большим или меньшим умом и талантом, теперь и у нас журнал уже не может иметь успеха. Критика, в отношении к успеху и влиянию журнала, начинает становиться едва ли не важнее самих повестей. Правда, под критикою у нас еще не все разумеют рассмотрение произведений искусства на основании науки изящного; напротив, большая часть публики добродушно почитает критикою всякую болтовню о литературных предметах, всякую рецензию на пустую книжонку, – и потому у нас стоит только назвать себя критиком, чтобы прослыть критиком... но все же душа журналистики – литературная критика».

Если читатель согласен с изложенным выше взглядом на журналистику и на ее роль у нас, на Руси, то как нельзя более понятными будут для него и нижеследующие слова Белинского, сказанные им в 1841 году: «Итак, этот успех журналистики, душа которой – критика, служит самым ясным и неопровержимым доказательством, что литература наконец укоренилась на почве русской национальности, вошла в жизнь общества, сделалась его обычаем и живою потребностью и уже перестала быть внешним нововведением, модою или книжным педантизмом».

Этим успехом журналистика обязана прежде всего себе самой, и мы скоро увидим, как недешево он ей достался.

¹ Полезное с приятным (*лат.*).

* * *

Вспоминать о журналистах тридцатых и сороковых годов – значит вызывать перед собой скорбные тени. Глубокая пропасть времени, лежащая между нами и ими, позволяет отнестись к ним без ненависти и раздражения, и, как только мы устраним эти чувства, нами не может не овладеть самое искреннее сострадание. Многие из них были смелыми и хорошими, даже честными людьми, многие не остались таковыми, выбрав тяжелую и многотрудную карьеру журналиста. Перед нами тень Надеждина, разбитого параличом после неожиданной для него поездки на Вятку; тень Полевого, потерявшего все: талант, силу, здоровье, славу – в борьбе с неумолимыми обстоятельствами. Скорбные тени многострадальных людей, которым если не все, то многое простится даже за малое содеянное ими, ибо и малому приходилось отдавать недюжинные силы...

Начнем с Полевого. Белинский, Панаев и вообще кружок “Современника” произнесли ему когда-то суровый приговор. Вот, например, что говорит Панаев в своих литературных воспоминаниях: “Немногие даже из замечательных людей сберегают до старости то живое начало, ту смелость духа, те благородные стремления, которые одушевляли их и давали им силу в молодости...” Грустно смотреть на этих ослабевших людей, но “... ничто не может быть жалче и печальнее, когда видишь человека, разбитого жизнью, бессильного, пережившего самого себя, старающегося насильно удерживать за собою власть, принадлежавшую ему некогда по праву, – человека, прикидывающегося молодцом, когда уже ноги дрожат и изменяют ему на каждом шагу, и с робкой завистью отрицающего действительную силу, проявляющуюся в новом поколении. Такое зрелище представлял, к сожалению, в последние годы своей жизни некогда сильный литературный боец, под влиянием которого воспиталось почти все наше поколение. Я говорю о Полевом... Если бы он, после рокового приговора, обрушившегося над ним, присмирел поневоле и продолжал бы честно и смиренно трудиться с единственной целью поддерживать свое многочисленное семейство, имя его осталось бы незапятнанным в истории русской литературы. Но Полевой с испугу поспешил употребить слабые остатки своего таланта на угодничество, лесть, которых никто от него не требовал; беспрестанно унижал без нужды свое литературное и человеческое достоинство, протягивая свою руку людям отсталым, пошлым, защитникам тех принципов, против которых он когда-то ратовал, отъявленным негодяям, и, что всего хуже, с завистливою ненавистью обратился к новому поколению... Хотя он совершенно потерял в последние годы свое литературное значение, но смерть его на мгновение примирила всех с ним. Полевой, восхвалявший романы частного пристава Штевена, писавший “Парашу-сибирячку” и другие тому подобные произведения, был забыт. В простом деревянном гробе, выкрашенном желтою краскою (он завещал похоронить себя как можно проще), перед нами лежал прежний Полевой, тот энергический редактор “Московского телеграфа”, которому мы были так много обязаны нашим развитием...”

Жестокая правда скрыта в этих словах, но правда односторонняя, слишком, я бы сказал, сухая. Мы имеем полное право несколько иначе отнестись к Полевому.

Странная и даже ужасная судьба выпала на его долю.

Нужен великий художник, чтобы изобразить эту простую и вместе с тем исполненную трагизма жизнь! Автор “Истории русского народа”, предшественник Лермонтова по настроению, сильный боец и передовой человек, гибкий и энергичный ум, открытое, живое сердце – это Полевой в первой половине своей жизни. Автор заядлопатриотических произведений, сотрудник Булгарина, человек, не останавливающийся ни перед какими унижениями, торгующий своим талантом и быстро промотавший свою великую славу на скользком пути подслушивания, – это тот же Полевой, но уже после закрытия “Московского телеграфа”. Что же

случилось? Панаев объясняет такую перемену испугом и материальными затруднениями. Полевой был сломлен по пословице: сила соломѹ ломит.

Расскажем вкратце его литературную биографию. Она избавит нас от необходимости произносить неприятный приговор самому видному из русских журналистов вплоть до Белинского и, быть может, хоть отчасти послужит ему оправданием. Тем более мрачными покажутся нам различного рода не зависевшие от него обстоятельства.

Полевому было с небольшим 20 лет, когда он принялся за издание “Телеграфа”. Нельзя не согласиться, что, несмотря на свою молодость, он был как нельзя лучше подготовлен к роли журналиста. Не особенно образованный, он обладал, однако, многочисленными и разнообразными знаниями; писал он легко, свободно и всегда литературно, прекрасно владея своим несколько резким и оригинальным юмором, а главное – он был достаточно смел, чтобы довериться своему вкусу и настроению. Как истинный журналист писал он обо всем: о русской и всеобщей грамматике, о санскритском языке, о всеобщей истории и русских летописях, о театре и политической экономии, о промышленности и о Шекспире, о научных теориях и об искусстве, о преобразованиях и успехах во всех областях человеческой деятельности. Конечно, академия имеет полное право не причислять его к лику своих членов, а наука – отнюдь не меньшее – забыть его, но нам трудно не вспомнить с благодарностью об этой кипучей, разносторонней деятельности. Она имела большой смысл и в свое время сыграла роль прекрасного толчка – и притом очень энергичного. Полевой повсюду с резким и грубоватым даже юмором нападал на заснувших лентяев и педантов; он буквально не давал им покоя, в какие бы специальные сферы или норы они ни прятались. Он по пятам преследовал ученое и литературное самодовольство, безжалостно осмеивая его представителей, искренне утвержденных в мысли о своей гениальности вследствие какой-нибудь плохо изданной компиляции по немецким учебникам. Если и в настоящее время нередко попадают люди, основывающие все свои претензии на величие лишь на том, что им известна грамматика такого языка, который даже не снился простому смертному, то что же было 60–70 лет тому назад? Все равно как каждый строчивший библиографические заметки наивно воображал себя критиком, как автор дикого стихотворения требовал причисления к сонму поэтов, так и ничтожный компилятор находил в своей душе достаточно самоуверенности, чтобы мнить себя жрецом науки и со своей высоты с презрением посматривать на окружающее вообще, на человечество в частности. У Полевого на этот счет была своя собственная точка зрения, не достаточно резко сформулированная, быть может, не совсем ясная даже для него самого и все же замечательная и для нас очевидная. Эта точка зрения, одушевленная впоследствии гением Белинского, согретая его чудным, бесконечно любящим и верующим сердцем, составила всю славу нашего великого критика. Я говорю, конечно, об общественной точке зрения. Не особенно симпатичная, если она предлагается нам в слишком искаженном виде, еще менее симпатичная, когда ее применяют механически и односторонне к произведениям науки и искусства, она, однако, всегда имела и будет иметь большое значение. Прекрасно сформулирована она Белинским: “Свобода творчества, – говорит он, – легко согласуется со служением современности: для этого не нужно принуждать себя писать насильно, насиловать фантазию; для этого нужно быть только гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить его интересы, слить свои стремления с его стремлениями; для этого нужна симпатия, любовь, здоровье, практическое чувство истины, которое не отделяет убеждения от дела, сочинения от жизни”.

Всякому известно, какой переворот в наших взглядах и понятиях произвела эта общественная точка зрения; несомненно, что она была у Полевого. И понятно теперь, почему он с такой энергией преследовал всяких ученых педантов и “птичьих” поэтов: на любую деятельность – все равно, научную или литературную, – он смотрел прежде всего как на деятельность общественную. Большой поклонник Пушкина, вполне убежденный в его гени-

альности, он нападал даже на него. “Полевой, – говорит А. Скабичевский в своей “Истории новейшей литературы”, – представил в своем “Московском телеграфе” первые задатки оценки писателей, принимая в соображение не одну степень талантливости и эстетические достоинства произведений, но также и политическую репутацию. Так, при всех похвалах, расточаемых им Пушкину, он, насколько возможно, довольно прозрачно проводил ту мысль, что Пушкин уже не тот, что был, и, нападая на его стремления к великосветскости, ясно намекал на те новые, официальные связи и отношения, которые завязались у Пушкина после 1826 года”.

Сильный и остроумный писатель, враг всякого авторитета, прекрасный полемист, Полевой очевидно должен был возбудить против себя многих, и целая стая литературных недругов буквально не давала ему ни минуты покоя. Совершенно прав его брат, говоря:

“Издатель “Московского телеграфа” только начал свое литературное поприще и уже в первое время существования его Журнала был, можно сказать, осыпан нападениями и обвинениями всякого рода, начиная от обыкновенных литературных противоречий до самых дерзких и нелитературных выходов. Он был не Карамзин, не прославленный ученый и профессор; он учился не в университетах, не в академиях; а в глазах тогдашней публики было важно не только это обстоятельство, но и то, что у него не было дипломов ни на какое ученое звание, что так усердно старались пояснить благородные, повитые на щитах его противники. Они упрекали, кололи его званием; выводили последствия, по их мнению очень логические, что звание купца, следовательно торговца, промышленника, несовместно с литературными занятиями, и, почитая его каким-то париею среди благородных каст, на этом основании позволяли себе дерзости, каких не осмелились бы сказать другому. Наконец издатель “Московского телеграфа” мог опасаться, что с ним сбудется то, что Бомарше вложил в уста Дона Базилио о клевете: “Самая пошлая, самая нелепая клевета оставляет после себя след”.

В этих клеветах, в этих злостных и упорных нападках на Полевого как нельзя лучше проявились “булгаринские” нравы литературы того времени. Но на Полевого нападали и с другой стороны.

В нем на самом деле была та самостоятельность мысли и чувства, которая так не нравилась 50 лет тому назад. В литературе Полевой выступил защитником романтизма, в истории – противником Карамзина. Обратим внимание на последнее обстоятельство, оно этого заслуживает. Как писал Карамзин свою “Историю” – известно: это история государства, а не народа, это панегирик внешней силе и внешнему могуществу, это прекрасный арсенал всех аргументов национального самодовольства. Народа на сцене нет, вместо философской точки зрения господствует нравственная. Приобретение удела – великая заслуга, эпитетами “добродетельный” и “недобродетельный” пестрят страницы. Сентиментальный моралист повсюду стоит рядом с панегиристом силы.

Как бы в ответ на “Историю государства Российского” Полевой пишет свою “Историю русского народа”. Это прекрасная книга, не утерявшая своей цены еще и до нынешнего времени. Для людей же двадцатых и тридцатых годов она была настоящим откровением. Молчаливый и закабаленный народ впервые *заявил* о своем непосредственном участии в деле создания и государства, и истории. Ему было отведено свое место, и тем ярче выступило противоречие между народом, создавшим историю, и крепостной бесправной массой, в которую превратился тот же народ, о чем совсем забыл Карамзин.

Одна эта книга могла бы обессмертить имя Полевого, а если прибавить к ней его заслуги как издателя “Московского телеграфа”, как предшественника Лермонтова, то, право, становится грустно, что у нас нет даже его приличной биографии и только десяток статей, разбросанных в журналах, да давно затерявшийся памятник на Волковом кладбище – вот и все, что осталось от сильного бойца и когда-то передового общественного деятеля...

Правда, впоследствии Полевой сам себя опроверг и бросил на свое имя очень темную тень. Случилось это после неожиданного запрещения “Московского телеграфа”, когда его издатель остался без всяких средств к жизни и в довершение всего получил строгое внушение. Человек умалился. Теперь если уж надо о чем рассказывать, то не о прежней почти героической борьбе с самодовольством и обскурантизмом, а о писании только патриотических произведений, о сотрудничестве с Булгариным, об откровенном благоговении и заискивании перед силой жизни. Полевой делал все что мог, чтобы забыли его же самого и первую половину его деятельности. Однако он не достиг этого.

Посмотрите, какая глубокая ирония и вместе с тем какая глубокая истина скрывается в словах Белинского, случайно брошенных им в одной из библиографических заметок: “*Не тот* г-н Полевой, который недодал шести книжек “Русского вестника”, *не тот*, который выкраивает из чего попало плохие драмы, создает комедии вроде “Войны Федосьи Сидоровны с китайцами” и воспекает “деньги”, *но тот*, который издавал “Московский телеграф”, ссорился с другом и недругом за свои убеждения, порицал направление драм гг. Шаховского и Кукольника и не воспекал денег”.

Все это как нельзя более правда; но чем больше задумываемся мы над судьбой Полевого, тем настойчивее выступает перед нами вопрос: “Что же такое с ним случилось?” Панаев говорит: “Испугался”. Другие ссылаются на обременение многочисленным семейством...

Было и то и другое. Но нетрудно, кажется, вообразить себе иную обстановку, в которой с такими людьми, как Полевой, никакого зла не случилось бы, в которой не пришлось бы ему ни холопствовать, ни лицемерить, не пришлось бы отречься от себя и восхвалять романы частного пристава только потому, что тому дана власть вязать и развязывать. Можно ли рассуждать с точки зрения этой, не идеальной даже, но все же лучшей, обстановки? Нам думается, что – да. Ведь общество существует совсем не для героев, а общественная жизнь – не для героических поступков. Героев так мало, что из-за них бы не стоило хлопотать. Большинство смертных – весьма и весьма дюжинные люди. умных, неглупых по крайней мере, между ними достаточно; но те, кто одарен исключительной силой воли, могучей верой, способностью приносить в жертву идеалу свое тщеславное, вечно алчущее “я”, встречаются крайне редко. Герой в любой обстановке – кроме, может быть, самой исключительной – не затеряется, но общественная жизнь должна быть приспособлена к людям средней воли и их достоинство она и должна оберегать. А если она не делает этого, если она это человеческое достоинство втоптывает в грязь, если она возводит в принцип неуважение к человеку, в систему – преследование его, то кто же виноват? Неужели слабый человек средней руки, обремененный многочисленным семейством?...

Чувство собственного достоинства – удивительный и лучший дар природы человеку, вернее – это чувство приобретено им ценою величайших усилий и неисчислимых страданий. Поэтому-то оно так привлекательно, поэтому-то оно и есть лучшее, что находится в нашем распоряжении. Хотите знать, какой приговор следует вынести той или другой эпохе, тем или другим историческим условиям, – спросите себя: а как люди, жившие в эту эпоху, в этих исторических условиях, относились к чувству человеческого достоинства? Уважали ли они его, ценили ли его или – наоборот – третировали, презирали, всяческими способами преследовали? Мне думается, что трудно, обладая такого рода критерием, сделать серьезную ошибку. Аристотель всю свою теорию нравственности построил на сознании человеком

собственного достоинства. Великая и славная мысль, вникая в которую мы невольно переносимся в обстановку греческой жизни с ее привольной атмосферой, в которой так свободно дышалось людям. Почему человек добродетелен? Потому ли, что он боится кого– или чего–нибудь, потому ли, что он ищет награды, потому ли, наконец, что ему так приказано? Нет, проще, гораздо проще: он добродетелен, потому что уважает самого себя.

Тридцатые же и сороковые годы нашего века к подобной этике приспособлены не были, а наоборот, как бы задались специальной целью доказать, что чувства собственного достоинства у человека нет, да и быть не может. На Полевом они проявили все свое могущество – и он сломлен. Конечно, никто не мешает нам обвинять его: “жестokie” слова и так уже не раз градом сыпались по его адресу. Но будет ли *правда* в этих “жестоких” словах? Если и будет, то не полная. Не знаю, как другие, но я, вчитываясь в письма Полевого, относящиеся к последней эпохе его деятельности, чувствовал одну лишь жалость и сострадание к этому когда-то сильному человеку. Долги, заботы о семействе, о насущном куске хлеба, тревожные думы о подневольной работе, постоянное насильственное напряжение сил – вот темы этих писем. Перед нами слабый, несчастный, подъяремный человек, боязливо оглядывающийся, боязливо протягивающий руку.

Всякий, думается нам, знает, что в николаевскую эпоху господствовала “система”. Это система ясная, точная, такая, которая еще и теперь поражает нас своим грандиозным размахом. Эта система являлась как бы живым воплощением могучей и непреклонной личности самого императора Николая I. Идея, которая проникала собой всю систему и, как мозг, наполняла кости ее, была идеей внешнего могущества и силы России, с одной стороны, безусловного единства ее духовной жизни, с другой. Относительно внешнего могущества будем кратки: его не только добивались, им пользовались. Познакомившись хотя бы немного с историей дипломатических сношений периода правления Николая I, вы прежде всего замечаете, что в продолжение долгого ряда лет в европейском концерте Россия держала первую скрипку. Император был настоящим вершителем европейских судеб, его приказаниям волеиневолей должны были подчиняться за границей. В дела других европейских государств он вмешивался властно и требовательно, его голос раздавался как голос власти, как голос силу и право имеющего, главное – силу. Стоит припомнить классическую угрозу Николая I отправить в Париж миллион “слушателей”, то есть солдат, в случае, если будет допущена к представлению не понравившаяся ему пьеса. Участие России в венгерском восстании – другая иллюстрация того же самого. Венгерцы восстали потому, что у них были с австрийцами свои собственные счета; но так как император Николай I возложил на себя трудную миссию сохранения европейского мира и считал безусловным своим долгом заботиться о прочности всех европейских престолов и поддерживать династическую идею везде и всюду, то России пришлось вмешаться и в венгерское восстание ради его успокоения. Русский колосс в эту удивительную эпоху расправил свои могучие члены и явился в полном блеске величия и власти. Но очевидно, чтобы пользоваться в Европе такой первенствующей ролью, ему пришлось задействовать все свои силы, которые только были, пришлось выносить невероятное напряжение, пришлось идее внешнего могущества подчинить все остальное и принести ей в жертву лучшие дарования и лучшие способности.

Одним из необходимейших условий внешнего могущества, по мнению императора Николая, являлось полное, безусловное, не терпящее никаких, даже самонаименьших, уклонений духовное единство всех русских людей, начиная с первого вельможи и кончая последним мужичонкой. Система николаевской эпохи стремилась подчинить себе все мысли и чувства пятидесятиmillionного населения. Это была поистине грандиозная попытка. Все усилия правительства в области внутренней политики сводились к установлению дисциплины, идеалом которой была дисциплина военная. Каждому было указано свое строго определенное место; от каждого требовалось, чтобы он говорил, думал и чувствовал именно

так, как предписано. Один должен был чувствовать побольше, другой поменьше; одному полагалось знать то, чего не полагалось знать другому; в мыслях одного могло быть больше развязности и бойкости, чем в мыслях другого; третьему совсем не полагалось иметь мыслей. Все это было строго предусмотрено системой, все это с математической точностью соответствовало положению человека здесь, на земле.

Каково приходилось в этой обстановке интеллигентной мысли – сообразить нетрудно. Интеллигентная мысль менее всего подходила под требования системы. Ведь вся привлекательность умственной или творческой деятельности в том и заключается, что в ней человек выявляет свою особенность и индивидуальность. Если нет такой возможности, если нет свободы, позволяющей проявить самого себя, то не все ли равно, что икону писать, что утаптывать мостовую? Но какое дело системе до особенности и индивидуальности? Крупных людей, как, например, Пушкин, она старалась привлечь на свою сторону. С мелкими она совершенно не церемонилась.

Несмотря, однако, на эти неприятности и стеснение, несмотря на то, что существование и литературы, и журналистики только терпелось, но не признавалось, обе они в процессе естественной эволюции пережили за это время очень важный момент своего бытия. Совершилось это втихомолку, незаметно, но все же совершилось и как факт может быть упомянуто в нашем предисловии. Не говорим уже о том, что литература, по словам Белинского, стала общественной силой, то есть сблизилась с жизнью, с ее практическими стремлениями и задачами, о чем упоминалось нами выше. Пользуясь случаем, указываем на другое обстоятельство: в литературе появился разночинец, и из занятия случайного она стала делом, таким же *настоящим* делом, как учительство, чиновничанье и пр.

Об этом стоит сказать несколько слов.

В это время установился обычай платить за статьи гонорар. Уже Полевой, издавая “Московский телеграф”, частенько делал это, и после него плата писателю-журналисту стала как бы правилом. Платили редакторы, издатели, то есть лица, прямо и непосредственно связанные с литературой, и прежний гонорар в виде табакерок, милостивых улыбок, всевозможных подачек со стороны меценатов и меценаток стал мало-помалу отходить в область предания, откуда можно пожелать ему никогда не возвращаться. Благодаря этому оказалось возможным избирать писательство карьерой и исключительно отдаваться ему. Таким образом, оно возвысилось до степени дела. Раньше же им занимались между прочим. Дилетанты и любители создавали повести, романы, критические статьи, поэмы, печатали их ради славы и во имя собственного тщеславия, услаждались похвалами, возмущались нападениями, но делом их жизни была не литература, а полк, департамент и так далее. Оттого позволять себе такую роскошь, как писательство, могли лишь люди обеспеченные, обладавшие родовым или благоприобретенным. Но писательство как карьера, литературная работа как дело всей жизни были немыслимы для разночинца, не имевшего ни родового, ни благоприобретенного, пока гонорар не стал обычаем и даже правилом. Эта полистная и постатейная плата является для историка как бы символом того, что кончился наконец аристократический период в литературе и вместо него наступил другой, уже ни в коем случае не аристократический.

Разночинец обосновался в литературе. Журналистика открыла для его сил такое поприще, о котором раньше он не мог мечтать и во сне. Литературные нравы покровительствовали ему. Никто не справлялся о его происхождении, о чине и звании его родителей; так или иначе, но ценили его по делам. Дух времени, правда, был против такой оценки, но литература выступила на свою самостоятельную дорогу и держалась своей собственной линии. В обществе, где протекция, родство, связи, портреты предков и пр. играли такую важную роль, вдруг появился уголок с другими нравами и другими взглядами. Этот уголок был – литература. Звание генеральского сына или внука – увы! – не ценилось там нисколько.

Талант, личная заслуга, непосредственная способность влияния на другого – вот что значило, вот что стояло на первом плане. И разночинцу (хотя и не всегда) открывалась возможность вздохнуть свободно.

Войдя в литературу, разночинец внес в нее и особенные взгляды. Он явился с чердака, с антресолей, из подвалов, явился бледный и исхудалый, знакомый с голодом, помятый жизнью. Он знал эту жизнь, знал ее по опыту, на собственной шкуре – и прежнее созерцательное, оптимистическое отношение к бытию было не по вкусу ему. Он хотел дела; сын страдания, так или иначе он решился бороться с ним. И борьба началась.

ГЛАВА II

Почему так хорошо забыт Сенковский? – Характеристика его как личности и писателя. – Детство и воспитание. – Поездка на Восток. – Литературная деятельность до открытия “Библиотеки для чтения”

Полагаем, что ничто так хорошо не забыто, как прошлое журналистики и журналистов. И понятно, почему это так. Среди общественных деятелей журналиста забыть особенно легко. Это несомненная, хотя и грустная истина. Что остается после него? Груда испитых бумаг, почти непонятных через 20–30 лет после его смерти. Давно забытые имена, давно переставшие не только волновать, но даже интересовать нас события, намеки на современные явления и обстоятельства, в которых мы не можем разобраться без скучных комментариев, – вот наследие журнальной работы. Надо быть или философом, или поэтом, чтобы новое поколение могло интересоваться тобою; большинство журналистов служит своей эпохе и умирает вместе с нею. Они волновались, негодовали, любили, спорили, ссорились, но какое дело до всего этого нам? Пятьдесят лет успели создать новые имена и новые интересы, за пятьдесят лет все прежнее отчасти исчезло, отчасти забыто. Нам трудно даже на минуту перенестись в прошлую жизнь; вместо людей с мускулами и кровью перед нами бледные тени; вместо яркой картины перед нами слабо проведенные штрихи. Истины, когда-то великие и новые, кажутся нам азбучными; события, возбуждавшие прежде такой страх или такие восторги, не производят на нас ни малейшего впечатления. Если мы интересуемся прошлым, то разве лишь тем, что в нем есть общего, выдающегося, а злоба тех дней – не злоба для нас. Понятно, что если журналисту, который не был одновременно поэтом, как Белинский, или философом, как Писарев, Михайловский и так далее, приходится оглянуться на свою прошлую деятельность, то он не может не почувствовать тоски и угнетения. Он чувствует, как скоро он будет забыт, как скоро исчезнут последние следы совершенной им громадной работы. Кому надо, кому охота копаться в старых журналах, кто простит и поймет эту торопливую, лихорадочную деятельность, кто заинтересуется давно минувшей злобой дня? А между тем все это когда-то волновало и мучило, все это заставляло судорожно хвататься за перо, опровергать и доказывать, бороться и надеяться... Тогда нельзя было не торопиться, тогда некогда было раздумывать над отделкой формы, над тем, чтобы придать своему произведению более строгий и обработанный вид. Надо спешить. Жизнь не ждет, ежедневно выдвигает она на сцену новые вопросы, и обязанность журналиста – ответить на них.

“Я принялся, – писал Сенковский Ахматовой, – перебирать в своей памяти все, что написал до сих пор, и вижу, что решительно не сделал ничего хорошего, что могло бы остаться после меня, что было бы соразмерно с тем громадным трудом, который я наложил на себя с ранней юности, чтобы подготовиться работать хорошо и быть полезным. Я так дурно распорядился моею жизнью, моими способностями; я вступил на такой путь, который принудил меня насильно тратить все это для других, всем жертвовать для других, – глупо, потому что я получил за это только неблагодарность и клевету и ничего не сделал для самого себя, для прочности своей собственной славы, для моих материальных интересов, наконец потому, что и материальные интересы имеют также свою цену, когда приближаешься к старости. Что останется после моей смерти? – множество работ, разбросанных, едва начатых, неконченных, которые я всегда предпринимал с намерением связать их вместе, усовершенствовать, придать им большее развитие, сделать из них произведения прочные и замечательные; и всегда, предаваясь сумасбродно несчастной трате моих идей и способностей на пользу других, я оставлял их неконченными и забытыми по недостатку времени и вследствие того усложнения занятий, в которое я вдался необдуманно и из которого мне

теперь трудно выбраться, несмотря на все мои усилия достигнуть этого, чтобы отдаться самому себе и работать над тем, что должно пережить меня. Успех, который имели все эти наброски, все эти пустяки, более или менее блестящие, нисколько не ослепляет меня; я знаю лучше, чем кто бы то ни было, что они не имеют настоящего достоинства, и высокое понятие, какое они дали публике о моих способностях, – тяжесть, подавляющая меня, потому что я боюсь, вижу, что смерть настигнет меня прежде, чем я сделаюсь свободен, чтобы доказать моим согражданам, что я действительно стоил того уважения, которое они отдали мне сразу, и что они не обманулись в моих способностях. Признайтесь, что для человека, умеющего чувствовать сильно, для человека с сердцем, для того, кто не лишен благородного честолюбия, мысль обмануть все ожидания, и обмануть по своей собственной вине, не может не быть убийственной. Вы понимаете теперь причину этой жестокой грусти, которая овладевает мной время от времени, и этого желания, я скажу даже – этой любви к преждевременной смерти, которая заставила бы меня исчезнуть, не уничтожив всего престижа. Если я не успею выйти из моего несчастного положения и найти время, чтобы кончить мои сочинения, чтобы показать свои истинные дарования, я дам одержать надо мною верх моим врагам, всем тем, кто теперь унижает мое дарование из зависти.

Уже и то унизительно думать, что такая сволочь может когда-нибудь одержать надо мною верх благодаря моей непредусмотрительности. Говорили, что у меня есть только ожесточенные враги или фанатические друзья; если это так, я насмехаюсь над моими врагами, я доказываю им каждый день, что насмехаюсь над ними и не боюсь их; но я чувствую в то же время, и очень сильно, что имею большие обязательства к тем, кто утомляет меня своим дружеским фанатизмом, и что я прежде всего должен оправдать их лестное пристрастие произведениями, достойными их и меня.

Вы не можете поверить, какие жертвы я приношу, чтобы заслужить уважение моих друзей, и до сих пор ничто не удается мне; в начале каждого года я говорю себе: наконец я свободен, почти свободен, и могу спокойно заняться моими собственными произведениями! Тщетная надежда: мало-помалу все работы сваливаются на меня, – и в конце года жертва принесена, а тяжесть моих занятий не уменьшилась ни на волос.

Нынешний год я принес еще большие жертвы и уже вижу, что без меня дело не идет и что все мое время будет истрачено на помощь другим, а помогать – просто значит делать все самому! Вы мне скажете: может быть! но эти сто толстых томов “Библиотеки для чтения” – уже довольно хорошие права на славу; вы рассыпали там множество новых идей о множестве предметов; они произвели не один умственный переворот в нашей стране; они дали не один спасительный толчок. Положим, что это правда, потому что это было сказано и повторено сто раз моими друзьями и даже моими врагами: но что такое “Библиотека для чтения”? Это вещь эфемерная; в продаже не осталось даже ни одного экземпляра из этих ста томов; все было прочитано, изорвано, потеряно, этого не перепечатают никогда, и память о моих громадных трудах, обо всех этих толчках, обо всех этих умственных переворотах изгладится очень скоро: обо мне останется только одно смутное предание.

Лет через десять вы сами забудете все, что там находилось, и, может быть, спросите себя с удивлением: но что же такое сделал этот человек, внушивший мне когда-то столько уважения и дружбы? Достигнуть такого результата после стольких трудов – об этом страшно подумать! Ваше благородное сердце сумеет понять грусть, меланхолию, уныние, часто овладевающие мною от этого”.

В общем характеристику, данную Сенковским самому себе, мы считаем совершенно справедливой. Но очень может быть, что многие найдут ее преувеличенной и воспримут как комплимент в меланхолической рамке. Пока не место разбираться в этом: нам ниже придется достаточно говорить и о “Библиотеке для чтения”, и о ее заслугах перед русской мыслью и русским просвещением. Заметим только, что никакого желания превозносить Сенковского

у нас нет, что мы совершенно ясно видим его недостатки и уж ни в коем случае не желаем ставить его рядом с Белинским. Но странно было бы забывать имя Сенковского в издании, посвященном замечательным людям. Велик он не был, но в его “замечательности” сомневаться никак невозможно. Пускай называют успех “Библиотеки для чтения” эфемерным, ее издателя – гаером, клоуном и пр., – это не важно. Важно другое: в тридцатых годах “Библиотека для чтения” была единственным журналом, который читали, Сенковский – единственным критиком, которого слушали. Вычеркните его деятельность, – и у нас нет журналистики тридцатых годов. Маленькая, скромная журналистика – согласны, но другой в то время и быть не могло. Маленькая и скромная, но она благодаря своим достоинствам или недостаткам – это увидим ниже, будила мысль дремавшей российской публики, она первая проникла в провинцию, первая встряхнула ее. Она приучила наше общество к журналу, сделала его необходимым для интеллигентной семьи, создала, наконец, новый тип журнала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.